

К 15-летию со дня смерти А. М. Горького

ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

М. ГОРЬКИЙ.

Над океаном и землей висел туман, густо смешанный с дымом, мелкий дождик лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда.

У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на все вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости. — Это кто? — тихо спросила девушка полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил: — Американский бог...

Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой оловом. Холодное лицо словно смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы — жидкая земля, она кажется полна слез, встает над океаном, поднимаясь ввысь, подается к небу, как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордые величие и красоту. Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет, разгонит серый дым и щедро обольет все кругом горячим, радостным светом.

А кругом ничтожного кусочка земли, на котором она стоит, скользя по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера. Ревут сирены, подобно голосам сказочных гигантов, раздаются сердитые свисты, брызжет цепь якорей, сурово плещут волны океана.

Все вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно. Витает в воздухе пародов горлоливо бьет воду — она покрыта желтой пеной, изредка морщинами.

И кажется, что все — железо, камень, вода, дерево — полно протеста против жизни без солнца, без песни и счастья, в плену тяжелого труда. Все стонет, воеет, скрежещет, повинуясь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повсюду на груди воды, изрытой и разорванной железом, выжидательная тишина, выжидательная тишина среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в хаосе судов, лесов и каменных плоских баров, нагруженных вагонами.

Ошеломленное, оглохшее от шума, задержанное этой дьявольской мертвой материи дьявольское существо, все в черной копоти и масле, странно смотрит на меня, сузив глаза в карманы штанов. Лицо его замаскировано густым налетом жирной пыли, и не глаза живого человека сверкают на нем, а белая костя зуб.

Медленно ползет судно среди толпы других судов. Лица эмигрантов стали странно серы, опухли, что-то озабоченно поглядывало на все глаза. Люди стоят у бортов и безмолвно смотрят в туман.

А в нем рождается, растет нетто непостижимо огромное, полное густого ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дымом, и в шуме его слышно что-то грозное, жадное.

Это — город, это — Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатитрехэтажные дома, безмолвные и темные «скребницы неба». Квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угромо и скуки. В каждом доме чувствуется надменная кичливость своей высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей...

Издали город кажется огромной чернотой, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо туманом дыма и сонит, как обжора, страдающий ожирением.

Вода в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растрачивает, переваривает их.

Улицы — сколько, алично горло; но кому куда-то вглубь плывут темные куски пищи города — живые люди. Везде — над головой, под ногами и рядом с тобой живые, грохочет, торжествуя свои победы, железо. Вызванное к жизни силой Золота, ошумевшее им, оно окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет, растет, опираясь на безмолвную каменную, все шире раскидывая вензель своей цепи.

Как огромные черви, ползут домотопы, влача за собой вагоны, кричат, подобно жирным уткам, рожи автомобилей, угромо вост электривичество, — душный воздух налетом, гонимый влагой, тысячами ревущих звуков. Придавленный к этому грязному городу, испачканный дымом фабрик, он не подвигается среди высоких стен, покрытых копотью.

жизни, как должное, неизбежно. В Москва, которые всегда встывают, вероятно, невозможно мыслить плести свои мысли, красивые кружева, невозможно родить живую, детскую мечту.

Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте, расстегнутой на груди. Угрюмая дорожка вагонам, замученный, отравленный воздух испуганно бросился в окна. — сетые волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой птицы. Она захрыла свинцовые, поташные глаза. Исчезла.

В мутных внутренностях коммат мелькают железные прутья кровавые, покрытые лохмотьями, грязная посуда и обеды пища на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь человека с книгой в руке. Стены льются мимо глаз, точно расплавленные, они текут грязным потоком навстречу, в быстром беге потока, таясь, колочатся безмолвными людьми.

Лысый череп тускло блеснул за стеклом, покрытым слоем пыли. Он одиозно качался над какими-то глазами. Девушка, рыжеволосая и тонкая, сидит на окне и выжидает чужих, считая темными глазами человека, идущего в комнату. — она не отвела глаз от работы, не поправила платья, разлепленного ветром. Два мальчика, лет по пяти, строят на балконе дом из щепок. Он развалился от сотрясения. Дети хватают маленькими лапками тонкие щепы, чтобы они не упали на улицу, скрежещут отвертки в речетке балкона, — и тоже не смотрят на причину, помешавшую их задаче. Еще и еще лица, одно за другим, мелькают в окнах точно осколки чего-то одного — большого, но разбитого в ничтожные пылинки, растертого в дребесу.

Гонимый бешеным бегом вагонов, воздух развевает платье и волосы людей, бьет им в лицо теплотой, душной волной, толкает, вгоняет им в уши тысячу звуков, бросает в глаза мелкую, едкую пыль, слышит, отступает протажным, непрерывно воящим звуком.

Живому человеку, который мыслит, создает в своем мозгу мечты, картины, образы, рождает желания, тоскует, хочет, отрицает, ждет, — живому человеку этот дикая вой, рев, вост, эта дрожь камня стен, трусливый дребезг стекол в окнах — все это ему мешало бы. Возмущенный, он вышел бы из дома и сломал, разрушил эту мерзость — «воздушную дорожку»; он заставил бы замолчать нахальный вой железных, он — хозяин жизни, жизнь — для него, и все, что ему мешает жить — должно быть уничтожено.

Люди в домах Желтого Дьявола спокойно переносят все, что убивает человека.

Внизу, под железной сетью «воздушной дорожки», в пыли и грязи мостовых, безмолвно воящая дряхлая, безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира, но голоса их тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука вырвала из окна дождя в грязь улиц. Питая свой телом жирными испарениями города, они бледны и жадны, кровь их отравлена, нервы раздражены зловонным ерком жарового металла, угрюмым воем порабощенных молчали.

Разве из этих детей вырастут здоровые, смеющиеся, гордые люди? — спрашиваешь себя. В ответ отговору скрежет, хохот, злой визг.

Вагоны несутся мимо Ист-Сайда, квартала белых, комопостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где — представляется уму — устроена огромная, бездонная дыра, — котел или кастрюля, — туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Каковы они, как вываривают детей?

Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, достояние. Не глаза, туловище от голода и горячие жалостливые, хитрые и мстительные или рабские покорные и всегда нечеловеческие, а восток видел, но ужас нищеты Ист-Сайда — мрачнее всего, что я знаю.

В этих улицах, набитых людьми, точно мешки воруши, дети жадно ищут в корзинках с мусором, стоящих у павшей, загнившие овощи и поглядывают их вместе с плесенью тут же, в одной пыли и духоте.

Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные жадным проголоданием, они дерутся, как маленькие собачонки. Они поворачивают мостовые стаями, точно проворные голуби: в час полудня и в полдень — они все еще роятся в грязи, жалкие митрофы нищеты, живые упрямые жадности богачей рабов Желтого Дьявола.

На улицах грязных улиц стоят какие-то пени или жаровни, в них что-то варится, пар, вырывающийся из горячей трубы на воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий, режущий ухо свист прорыва

Юноша у фонаря время от времени встряхивает головой, яростно стиснув голые зубы. Мне кажется, я понимаю, о чем он думает, чего он хочет — иметь огромные руки страшной силы и крылья за спиной он хочет, мне кажется. Это для того, чтобы однажды днем, поднявшись над городом, опустить в него руки, как два стальных рычага, и смешать в нем все в гудую мусоры и праха. — Гниль и жемчуг, золото и мясо рабов, стекло и миллионеров, грязь, лихоты, хитрость, дельца, отравленные грязью, и эти глупые, многоэтажные «скребницы неба», все, весь город — в гудую, в тесто из грязи и крови людей — в сверкающий хаос. Это страшно, жадно естественно в мозгу юноши, как нарав на тело худощавого. Грем много работы рабов, там не может быть места для свободной творческой мысли, там могут ввести только идеи разрушения, являющиеся только местной, буйной протестом животного. Это понятно — искажая душу человека, люди не должны жалеть от него милосердия к ним.

Высокая женщина с большими темными глазами стоит у двери; на руках у нее ребенок, ее жестко растегнуты, бессильно повисла длинным колом ее синяя грудь. Ребенок кричит, царапая пальцами явное, голое тело матери, тычется в него лицом, чмокает губами, на минуту умолкает, восток кричит с большой силой, бьет руками и ногами грудь матери. Она стоит, точно на каменной, и глаза ее круглые, как у совы — они смотрят упрямно в одну точку перед собой. Чувствуешь, что этот взгляд не может видеть ничего, кроме хлеба. Она плотно сжала губы и дышит носом, нодрив ее вырывают, втягивая пахучий густой воздух улицы; этот человек живет воспоминанием о пище, проглотившей им вчера, мечтая о куске, который он, может быть, съест когда-нибудь. Ребенок кричит, судорожно подергиваясь маленьким, желтым телцем, — она не слышит его криков, не чувствует утра...

Старик, длинный и худой, с длинным носом, без пылинки на своей голубой, припущившей красные веки больших глаз, осторожно роется в куче мусора, отбирая куски угля. Когда в нем подползает, он неужажке, точно воль, поворачивает туловище и что-то говорит.

Юноша, очень бледный и худой, опираясь на стол фонаря, смотрит серыми глазами вдоль улиц и по временам встряхивает курчавой головой. Его руки вонзаны глубоко в карманы брюк и судорожно шевелят там пальцами.

Здесь, в этих улицах, человек замирает, слышит его голос, озлобленный, раздраженный, мстительный. Здесь у человека есть лицо — голое, возбужденное, тоскующее. Видно, что люди чувствуют, замечают, что они думают. Они впадают в презренных канавках, толпясь друг о друга, точно сор в трубе мутной воды; их кружат и вертит сила голода, оживляет острое желание съесть что-нибудь.

В ожидании пищи, в мечтах о наслаждении быть сытым, они глотают насыщенный ядами воздух, и в темных глубинах их душ рождается острое желание, хитрое чувство, преступные желания.

Они подобны болезнетворным микробам в желудке города, и будет время, когда они его отравят теми же ядами, которыми он так щедро питает их теперь!

Человек имеет право мести — это право дают ему люди.

В мутом небе, покрытом дождем, гаснет день. Огромные дома отбрасывают еще мрачнее, тяжелее. Бое-то в их темных недрах восток кричат и блещет, точно жалкие глаза страшных зверей, которые должны все noch стереть мертвое богатство этих гробниц.

Люди кончили работу дня и, — не думая о том, зачем она сделана, нужна ли она им, — быстро бегут спать. Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все головы одиозно покрыты густыми пылинками, и все моют — это видно по глазам — уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе думать нечего; если есть работа — будет хлеб и лишние наслаждения жизнью, кроме этого ничего не нужно человеку в городе Желтого Дьявола.

Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужьям, и ночью, в душной комнате, потные и скользкие от пота, будут недовольны, чтобы для города родилась новая, свежая пища...

Идут. Не слышно смеха, нет восток говора и не блещет улыбка. Кричат автомобили, шелкают быки, гудит электривичество, пролетают вагоны. Вероятно, где-нибудь иррает музыка.

Мальчишки резко выкрикивают названия газет. Подлый звук шарманки и чей-то звук свистящего в трагикомическом объятии убийцы и балаганного шута. Безмолвно идут маленькие люди, — точно камни катятся под горю...

Все больше и больше вспыхивают желтые огни — белые стены сверкают пламенными словами о пише, о власти, о мле, новой битве, шпалах, сипарях, о театрах. Грохот железа, голмого восток воеду улиц жалкими толчками Золота, не становится тише. Теперь, когда везде горят огни, этот непрерывный восток еще значительнее, он приобретает новый смысл, более тяжелую силу.

Со стен домов, с вывесок, из окон ресторанов — летят ослепляющий свет распыленного Золота, за

Похальный, кривляющийся, он торжественно трещит восток, режет глаза, скакает лишь своим холодным блеском. Его хитрое сверкание полно острой жадности вытануть из карманов людей ничтожные крупицы их заработка, — он слезает свои подмигивания в огненные слезы и этими словами молча зовет рабских и дешевым удовольствиям, предлагает им удобные вещи...

Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется красивым и возбуждающим, веселит. Огонь — свобода стихия, гордые дитя солнца. Когда он буно расцветает, — его плещет трещит и живут пружинных всех цветов земли. Он оживляет жизнь, он может уничтожить все ветхое, умершее и грязное.

Но когда в этом городе смотишь на огонь, заключенный в пружинных темноте на стенах, понимаешь, что здесь — как все — огонь пружинит. Он слезает Золоту, для Золота и враждебно дадет от людей...

Как все — железо, камень, дерево — огонь тоже в заговоре против человека; ослепляя его, он зовет: — Иди сюда! И выманивает: — Отдай твои деньги!.. Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь и смотрят на жалкие, отупевшие их.

Кажется, что где-то в центре города вертится со складчатостью визгом и ужаласной быстротой большой ком Золота, он распыляет по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жално лют, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер, ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону, образует холодный, огненный вихрь, и втягивает в него людей, чтобы они отдали назад золотую пыль, похищенную днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на утро другого дня ком Золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжественный вой железца, его раба, грохот всех сил, порабощенных им.

И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг обратилась в холодный желтый металл. Ком Золота — сердце города. В его блещении — вся жизнь, в росте его объема — весь смысл ее.

Для этого люди целыми днями роют землю, колят железо, строят дома, дышат дымом фабрик, восток порами тела грязь отравленного, большого воздуха, для этого они проносят свое красивое тело.

Это сверкающее волшебство усыпляет их души, оно делает людей близкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рукой, из которой Он неустоимо плавит восток, свою плоть и кровь.

Из пустыни океана идет ночь и дышит на город прохладным, соленым дымком. Тысячами стрел возносятся в нее холодные огни — она идет, сострадательно окутывая темными одеждами безобразно домов, мерзость узких улиц, прикрывая грязь лохмотьями нищеты. Дикая воля жадного безумия несется ей навстречу, разрывая ее тишину — она идет и медленно гасит нахальный блеск порабощенного огня, за

крывая своей мягкой рукой гнойные явы города.

Но, вступая в сети улиц, она не в силах победить, разогнать своим свежим дымком лютые испарения города. Она трется о каменные стены, нагретый солнцем, ползет по жаровому желудку земли, по грязи мостовых, пропитывается ядовитой пылью, плещет запахи и опускаясь, бессильно, неподвижно ложится на крышах домов, в канавы улиц. От нее осталось только тьма, — свежесть и прохлада исчезли, проглотенные камнем, железом, деревом, грязными ласками людей. В ней больше нет тишины, нет покоя, нет...

Город сбрасывает в духоте, он восток, как огромное животное. Оно слышимое много покарало за день разную пищу, ему жалко, холодно и снится дурные, тяжелые сны.

Вадрагивая угасает огонь, отлучая свою жалкую службу провокатора, давая рекламу. Дома всасывают людей, отдавая за другим, в свои каменные внутренности.

Худой, высокий и сутулый человек стоит на углу улицы и скучно бесцветными глазами смотрит направо и налево, медленно поворачивая голову. Куда идти? Все улицы одинаковы, и все дома смотрят друг на друга большими тусклыми глазами одинаково безразлично и мертво...

Душная тоска давит горло теплотой рутью, стесняя дыхание. Над крышами домов неподвижно стоит прозрачное облако дневных испарений прожареного, несчастного города. Свистят эту плещу в него, в гласной высоте небу тускло мерцают тихие звезды.

Человек снял шляпу, поднял голову, смотрит вверх. Высота домов в этом городе оттолкнула небо дальше от земли, чем где-либо. Звезд — меньше, одиноко...

Влаги тревожно звучит мелкая труба. Длинные ноги человека странно вздрагивают, и он идет в одну из улиц, шагая медленно, наклонив голову и размахивая руками. Уже поздно, улицы становятся все более пустынными. Одинокие маленькие люди исчезают, точно мухи, пропавшие во тьме. На углах неподвижно стоят полицейские, в из серых плащах, с палками в руках. Они жуют табак, медленно втягивая чашечками.

Человек идет мимо них, мимо телефонных столбов и множества черных дверей в стенах домов, — черных дверей, сонно разинувших квадратные пасти. Где-то далеко гремит и восток трамвая. Ночь захлопнулась в глубоких аллеях улиц, ночь умерла.

Человек идет, размеренно перекидывая ноги, и качает свой длинный, согнутый корпус. В его фигуре есть что-то думающее, и хотя нерешительно, но — решающее... Мне кажется, он — вод. Приятно видеть человека, который чувствует себя живым в черных сетях города. Раскрытые окна дышат тошнотозапахом человеческого пота. Непонятные, глухие звуки дремлющего могут воздать в душевой, тоскующий по тьме... Уснул и сонно бредит мрачный город Желтого Дьявола.

Незабываемый вечер

В декабре 1916 года в нашем гимназическом кружке произошло памятное событие. Среди нас давно уже появился мальчик, несколько пошлый, удивительно тихий, слушавший все, как будто он собирал и старательно уносил к себе, в свою комнату каждое слово.

И очень долго не знал, что его фамилия Пеншков, что зовут его Максим и что он — сын великого писателя. Но вот, когда Алексей Максимович находился в Москве, Максим Пеншков устроил нашу встречу со своим отцом.

Трудно передать, чем был в это время для нас Горький. Мы с жадностью фаскватывали толстые тома «Летописи», которую он тогда редактировал. Каждая строка повести «В людях» жилавоудерживала, противостояла грозной чувствительности Арцыбашева, истории Андреева, бесстрастия Букина, пустотам Балмонта... Силою огромнейшего таланта Горький заглушал этих разрушителей души.

Он так говорил о рабочем классе, о революции, о России, что растл большую, настоящую любовь к Родине, к ее народу в каждом молодом сердце. Его духовно устремленный, предостерегающий все преграды Алеша, его неграмотный, но увлеченный книгами Смурый. Нас вдохновляли эти образы. С горьковскими страниц на нас вело заворающим дном могучего народа.

го интересует. Мы сказали, что больше всего нас интересует политическое положение. Он улыбнулся и заговорил. Заговорил легко и просто, выговаривая слова очень тихо и совершенно непринужденно.

Он не переставая нам что-то давно уже знакомое. Он размышлял вместе с нами, сообщая множество совершенно новых фактов, видимо, только что его поразивших и показавшихся примечательными и важными. Он размышлял вместе с нами о том, что было до войны в нашем отечестве, что происходило в рабочей среде, в крестьянской, в солдатской массе.

Горький говорил нам о Ленине, как будто он был не в далекой Швейцарии, а здесь, рядом с нами. Как будто сам Алексей Максимович был с ним неразлучно. Горький поразил нас ясным и четким утверждением, что мы ждем накануне революции такого размаха, что события 1905 года померкнут перед ней.

По поводу политических событий посыпались вопросы, и Горький отвечал на них охотно. Разговор становился все более свободным, все более общим. От политики перешли к литературе. Горький обратился к ней, как к чему-то своему, близкому, и мы уже чувствовали себя в его обществе хорошо, очень свободно, поглощенные тем, что мы слушали.

С добродушным, но порою и ост-

Друг русский

Восток

С утра

С утра